

Преподавание психологии в Царскомесельском лицее: А. С. Пушкин и А. И. Галич

И. М. Кондаков,
кандидат психологических наук

Александр Сергеевич, обладая феноменальной памятью и острым умом, никогда не упускал случая учиться чему-то новому и интересному. При этом все усвоенное существовало в его психической организации достаточно автономно и могло появиться на свет в самом неожиданном месте и в совершенно неузнаваемом виде. Безусловно, отдельные знания по психологии человека Пушкин получил еще до того, как поступил в лицей, — из повседневного общения и французской литературы, с которой познакомился очень рано. Но с систематическим изложением психологии он должен был столкнуться именно в лицее, прежде всего на занятиях А. П. Куницына и А. И. Галича.

Пушкин познакомился с Куницыным раньше, чем с Галичем, в день торжественного открытия лицея. Куницын был преподавателем политических и нравственных наук. Для лицейстов пушкинского курса им читалось 12 общественных предметов, в число которых входили логика, психология, нравственность, частное естественное право, публичное естественное право, народное право, русское гражданское право, русское публичное право, русское уголовное право, римское право, политическая экономия и финансы. Не исключено, что некоторые психологические закономерности были усвоены Пушкиным как раз из этих лекций, например такая, приводившаяся им позднее для иллюстрации мысли о постепенности роста народного самосознания: «Глаз, привыкший к темноте, надо постепенно приучать к свету» [1, с. 288]. Вместе с тем пафос лекций Куницына был не в том, чтобы систематизировать психологические феномены, а передать лицеистам особый позитивный нравственный заряд, за счет того, что акцент в них делался на понятиях, обладающих глубоким гражданственным смыслом (свобода, справедливость, право и т. д.).

Галич был солидарен с большинством из этих политических идей, навеянных опытом Французской революции, но, обладая совершенно другим темпераментом (эмоциональным, непредсказуемым, открытым к общению), он в своих лекциях делал несколько другие акценты и, соответственно, иначе воспринимался лицеистами. Показательно, что Пушкин в конспекте автобиографии сблизил его фигуру и творчество («Экзамен. Галич. Державин — стихотворство — смерть» [14, с. 133]). Основания для такого сближения были не только фактологические, — как известно, по предложению именно Галича для публичного экзамена по русской словесности было написано («заставил написать») пушкинское стихотворение «Воспоминания о Царском Селе», прочитанное в присутствии Г. Р. Державина, — но и более глубокие.

Итак, Александр Иванович Галич (Никифоров, настоящая фамилия — Говоров) (1783 — 1848) был философом и психологом, одним из первых последователей Шеллинга в России. Родился в семье дьячка, окончил духовную семинарию в г. Севске, затем получил высшее образование в Петербургском педагогическом институте, где был учеником профессора

П. Д. Лодия. В 1808 г. правительство, перед основанием в Петербурге университета, послало за границу (в Германию) лучших студентов института, в том числе и Галича, для изучения философии и истории и подготовки к замещению должности профессора кафедры философии (1809 — 1813). За границей он прослушал курсы «скептика» Шульце и «эклектика» Бутервека, но в конце концов увлекся учением Шеллинга. В 1813 г. возвратился в Россию и представил конференции института диссертацию, которая была в целом одобрена. Правда, конференция сделала о диссертации заключение, что «по множеству содержащихся в ней новых и либо никем, либо самым малым числом философов принятых умозрений ее печатать не следует». Галичу было предписано, чтобы он «при преподавании в российских училищах философских наук отнюдь не вводил своей системы, а держался бы книг, начальством введенных». В своем преподавании Галич присоединил к обычным философским предметам — логике, психологии, метафизике и этике — историю философии. В Педагогическом институте он преподавал философию, а в Царскосельском лицее — русский и латинский языки. Тяготясь педагогической работой с лицеистами, он попросил «в уважении истинно страдальческого» его состояния уволить его из лицея. В 1819 г., когда Педагогический институт был преобразован в университет, Галич занял кафедру философии. В 1818 — 1819 гг. издал двухтомную «Историю философских систем» (СПб., 1819), составленную на основании трудов немецких философов Захера, Аста, Теннемана и других и законченную на системе Шеллинга. Во вторую книгу «Истории философских систем» был включен «Опыт философского словаря», содержащий 217 философских терминов, в том числе и психологических. Кстати, в дальнейшем опыт работы над словарями послужил основанием тому, что он был приглашен к составлению большого Энциклопедического словаря. И в 1834 г. народном заседании у Греча по вопросам этого издания произошла его встреча с А. С. Пушкиным, который записал в своем дневнике: «Тут я встретил доброго Галича и очень ему обрадовался. Он был некогда моим профессором и ободрял меня на поприще, мною избранном». В 1821 — 1822 гг. при реакционном преобразовании университета попечителем округа Руничем против Галича и трех других профессоров было выдвинуто обвинение в атеизме и неуважении к властям. Галича обвинили в том, что, излагая в своей книге системы разных философов, он не опровергает их. Ректор Петербургского университета Д. А. Кавелин за «вредное направление лекций» Галича возбудил против него дело. Галичу пришлось «покаяться» в своих заблуждениях, и над ним была совершена церковная церемония, с чтением молитвы и «очищением» святой водой, после чего его лишили права читать лекции. Правда, за ним были оставлены оклад экстраординарного профессора и казенная квартира. А когда университетская реформа 1837 г. лишила его этих средств к существованию, он получил место начальника архива при провиантском департаменте. Несмотря на жизненные трудности, Галич продолжал научную работу и издал несколько книг. В 1834 г. вышел основной труд его жизни — книга «Картина человека. Опыт наставительного чтения о предметах самопознания для всех образов людей». Уже 22 февраля этого года ее приобрел Пушкин. Позже Галич приступил к изданию «Лексикона философских предметов», в котором отстаивал идеи Шеллинга, но оно прекратилось после первого выпуска (буквы А — Вк; СПб., 1845). В 40-х гг. XIX в. больше всего его занимали два труда: «Всеобщее право» и «Философия истории человечества». Но едва он успел их закончить, как в его отсутствие их уничтожил пожар. Это так подействовало на Галича, что он стал понемногу опускаться и пить [7, с. 923—924] (по-видимому, тяга к вину у него появилась раньше).

Вернемся к тем временам, когда Пушкин учился в лицее. Бартнев, ссылаясь на лицеиста Гаевского, высказал суждение, что Галич занимал в лицее кафедру философии и эстетики. В действительности же с 10 мая 1814 г. по 1 июня 1815 г. он лишь подменял Н. Ф. Кошанского, профессора российской и латинской словесности, во время его болезни, которая была определена как «белая горячка». Мнение о том, что Галич занимал философ-

скую кафедру, сложилось, по-видимому, в силу того что на своих занятиях он, делая существенные отступления от предмета изложения, касался прежде всего философских вопросов.

Его лекции проходили в форме бесед, в достаточно непринужденной обстановке. Изучить труды того или иного античного классика для него было «потрепать лавры старика» [9, с. 208]. Корф называл его «предобрый и презабавным чудаком»; среди лицеистов он считался не только веселым, остроумным и до слабости снисходительным философом, но к тому же склонным к участию в застольях и пирушках, на которых он мог показать свое ораторское дарование. Именно об этом свидетельствуют слегка преувеличенные строки Пушкина:

О Галич, верный друг бокала
И жирных утренних пиров,
Тебя зову, мудрец ленивый,
В приют поэзии счастливый,
Под отдаленный неги кров.
Давно в моем уединенье,
В кругу бутылок и друзей,
Не зрели кружки мы твоей,
Подруги долгих наслаждений,
Острот и хохота гостей [12, т. 1, с. 82].

Тот же образ рисует и другое пушкинское стихотворение («Пирующие студенты»), написанное в 1814 г. в лицейском лазарете и там же прочитанное к восторгу слушателей:

Апостол неги и прохлад,
Мой добрый Галич, vale!
Ты Эпикуров младший брат,
Душа твоя в бокале [12, т. 1, с. 39].

Несмотря на вольность взаимоотношений, лицеисты ценили Галича как весьма умного человека, с которым можно поговорить по душам о жизни, о творчестве. По крайней мере, Пушкин позднее писал: «Один в каморке тесной // Вечерней тишиной // Хочу, мудрец любезный, // Беседовать с тобой».

Чему же мог учить Галич молодых лицеистов? В его трудах, опубликованных уже после лицейского периода, мы находим психологические знания энциклопедического охвата, и среди них особое место отведено учению о творчестве. Вряд ли часть этого содержания не была отражена в его лицейском курсе.

Исходные суждения Галича о строении человеческой психики основывались на определении человека как двуединого существа, состоящего из души и тела. В соответствии с этим «человековедение... не есть Физиология в обыкновенном смысле, ни Психология исключительно, ни что-либо среднее между обеими, а только полная картина бытия человеческого, открытого наблюдениям. Правда, если Психологию принимают за учение о духовном характере человека и если сей духовный характер составляет сущность его жизни, то Человековедение должно быть Психологией в значении преимущественнейшем: однако ж и телесное бытие наше необходимо входит в состав той живой природы, в которой одна сторона объясняется другою» [3, с. 4]. Его дальнейшие рассуждения о методе исследования психологической реальности в целом соответствовали естественнонаучной традиции: «Следует только держаться известных частных правил осторожности и благоразумия, а именно... b) наблюдать происшествия во всевозможной их многосторонности... с) схватывать в массе сих материалов особенно все резкое, характеристическое... d) наблюдать с разных точек зрения, при разных условиях и положениях... e) сравнивать то, что подметили в самих себе, с тем, что изведали на себе и другие... h) наконец, при изучении природы человеческой

брали себе в пособие обширные сведения в естественных науках, уединенное и спокойное размышление, обращение с другими лицами и народами, знакомство со светом» [3, с. 17—19].

Но подобная методологическая позиция вряд ли была усвоена Пушкиным в его лицейские годы, слишком большое значение он придавал импровизации и спонтанности, а отнюдь не систематизации. Позднее ему также более импонировала противоположная позиция, о чем свидетельствует, например, то, что он с явной симпатией цитировал строки Г. Кониского: «Мы познаем разумом души; а телесные очи суть как бы очки, чрез кои душевные очи смотрят» [11, т. 6, с. 88]. Да и сам Галич частенько отказывался от естественнонаучного метода (хотя и верного, но слишком утомительного в своем применении) и делал выбор в пользу метода менее научного, но более притягательного в силу кажущейся продуктивности: «Не глаз, не ухо, не осязание составляют способность и силу к самим отправлениям этим, — они к тому служат только орудиями. Но эти способы, снаряды и приемы при сверхчувственных предметах совсем и не нужны и негодны, — мы познаем, мы ведаем их непосредственно, как и самих себя познаем, различая от внешнего мира; — мы слышим глас совести, мы внемлем призывные звуки «с того света» [4, т. 1, с. 62].

Известная доля двойственности (объяснявшаяся и укорененностью раннего семинарского опыта, и слишком большим объемом информации, которую пришлось усваивать за границей, и цензурными соображениями, заставлявшими использовать богословские объяснительные модели) была характерна и для определения Галичем предмета психологии.

С одной стороны, он пытался трактовать психическое как внутреннее (движущее) основание материального: «Идеальное начало существования во времени и пространстве, которое производит возможное в действительность, живая монада... не есть сущность, примерно отлученная от своего действительного бытия и ему чужая; она составляет внутреннее, вечное его основание» [3, т. 1, с. 65]. Вопрос о порождении индивидуальной души решался им следующим образом: «Как происходят души? По крайней мере, 1) не творятся всякий раз прямо Богом и не вводятся им в тела... 2) не предсуществуют в умственном, неведомом мире, в запасной хранилище — между звездными кругами, между небом и землею, откуда (примерно в наказание) переводятся в тела человеческие...», но — «через рождение, которое, однако ж, и само предполагает опять жизнь и одушевленность, предполагает природу, проникнутую жизнетворящими силами» [3, т. 1, с. 68—70]. Одушевляя природу, Галич склонялся к тому, чтобы, в соответствии с представлениями Лейбница, дать параллелистическую трактовку соотношения души и тела: «Если сличим жизнь телесную и духовную... то с первого взгляда не только остроумие и фантазия, но и самая наука должны признать обоюдное соответствие в устройстве каждой из них, должны признать род предустановленной гармонии» [3, т. 1, с. 493]. Но в другом месте текстов видна его готовность под давлением запросов практической, или нравственной, жизни несколько сгладить категоричность исходных посылок: «Если человек... рассматривает свою жизнь... то находит в ней сторону духовную и телесную, связанные столь тесно, что они могут друг другу и мешать, и благоприятствовать... Потребность и закон совершенной гармонии здесь, как и везде, неотразимы. Но от сей потребности и от сего закона весьма далеко нынешнее отношение тела к духу. Первое не совсем подвластно второму; оно обращено к внешней природе и увлекает своего вожагого, которому также недостает часто сил одолевать искушения и приманки чувств. Вот почему либо духовная жизнь нередко теряет свои державные права и поступает в служение плоти, либо оба начала раздираются стремлениями враждебными» [3, т. 1, с. 43]. Таким образом, наряду с мыслью о параллелизме души и тела, проходит и другая, прямо восходящая к церковной догматике, которая также может быть прослежена от Аристотеля (от его теории «вливания»): «Душа человека, самосознающее и над проявлениями своими властное, есть... дух, который, западая к нам и будучи схватываем чувством, сознанием, составляет Я каждого и возводит человека в достоинство лица. Ибо, вторгаясь своею жизнью в природу вещей, она... везде, где существует в мире действительно, заключила себя в свой особенный удельный круг

свой особенный удельный круг бытия, в котором, существуя и распоряжаясь, и получает звание души-домостроительницы... Собственно, есть душа только отдельный человек, как чувственный представитель родового нашего духа. Ибо таково-то и есть отношение духовной сущности человеческой ко всякой отдельной душе, что первая внедряется в последнюю, есть ее основание и живительное начало» [3, т. 1, с. 65—67]. Наконец, он делает суждение, очень мало согласующееся с идеей параллелизма души и тела и с его же собственным заверением, что души не вводятся в человеческие тела извне: «Души возводятся в нас только из царства душ» [3, т. 1, с. 70]

Именно метафора «вливания» стала основой при обосновании им очень примечательного суждения — примечательного своим соответствием представлениям юного Пушкина — о «западающих» в голову (или душу) человека «божественных идеях», которые только и могут объяснить, «почему и я, и ты, и он — все мы чувствуем в себе первоначальное стремление к идеалам духовного совершенства — к истине, к святости, к свободному творчеству!» [3, т. 1, с. 67]. Галич подобные идеи, «западающие» в душу, интерпретировал как истинные в последней инстанции. В отличие от них человеческие понятия, которые лишь обслуживают общение между людьми, ограничены и могут быть ложными: «Мертвы все наши познания, добываемые посредством отвлечения, живы идеи, непосредственно созерцаемые тою силою души, которой сообщено чувство для вещей сверхчувственных. Целостию бытия заведует идея, поглощая в себе все противоположности... Идеи непреложны, всегда одинаковы, а понятия изменчивы... Понятия образуются восходящим путем, а идеи образуются путем нисходящим; это, так сказать, падшие, от Божественного сознания отложившиеся, с неба сверженные духи, из коих каждый получал в свое и ведение и управление и в назидание особенный удел земных тварей, то пребывающих, то движущихся, то познающих» [3, т. 1, с. 219—221].

Соответствующее понимание души (как временами наполняющейся подобным содержанием, вносимым из области идеального) можно найти во многих произведениях Пушкина и лицейского периода, и более поздних:

Пой, юноша, — певец тиасский
В тебя влиял свой нежный дух... [12, т. 1, с. 48].

Галич рассматривал творчество и как дар (свойство художника), и как подарок (творческая идея) свыше, и многие его соображения были в дальнейшем проиллюстрированы Пушкиным на практике. Например, вдохновение определялось Галичем следующим, традиционным, восходящим к богословию, образом: это есть «акт, которым дух вселяется в плоть, есть состояние необычайного движения фантазии и внутреннего чувства» [4, с. 161]. Но более интересными были его суждения о структуре гениальной личности, в которой выделялись моменты произвольные и обусловленные сознательными усилиями: «Таинственная, загадочная, дивная сторона вдохновенного состояния есть в самом существе Гения основанное, природное и по временам только нарушаемое равновесие двух начал, а именно, с одной стороны, слепой, безотчетной силы, которая образуется как бы невольно, с другой... сознания, которое постоянно указывает образуемому художнику на главную его мысль. Та видна в несметном множестве гармонических отношений, или пропорций, какие вмещает в себе искусственное изделие, не выказывая определенного намерения в своем производстве, это — в приличном и замысловатом расположении искусственного создания относительно к основной идее... Художник, прежде всего, схватывает какую-либо идеальную сторону предмета, которая приводит его душу в необычайное движение, затем фантазия вполне обрабатывает отдельные его части, наконец, идеал, внутренним оком созерцаемый, осуществляется в цветах, в звуках, в облициях» [4, с. 162—163]. Наконец, Галичем были сформулированы определенные правила жизни и творчества продуктивной личности. Правда, в них было слишком много благодушия и мало практического смысла. По крайней

мере, ему самому следовать этим правилам в жизни вряд ли удавалось. Так, о соотношении вдохновения и труда он говорил следующее: «Вдохновение истинного художника не есть вспышка, которая расстраивала бы прекрасное равновесие сил и обнаруживалась бы буйными движениями, слезами и корчами или другими действиями унижения, а глубокое, с тишиною весьма совместное движение гармонической души, для которой мера прекрасно стала единственной формой деятельности при составлении и представлении стройного предмета... Творец изящного произведения должен уже иметь вообще богатство мыслей и чувствований, которые в минуту вдохновения только легче обыкновенного приливают к его душе и беспрепятственнее в ней развиваются, а отнюдь не возникают вообще в этом состоянии без содействия художника, отчего иные бесталанные силятся часто, подобно шаманам, воодушевить себя искусственными средствами. Но если вдохновение художника не есть необходимо-буйный порыв, а глубокое, энергичное движение производительных сил души, то оно, хотя и не в одинаковой степени, может быть господствующим расположением художника» [3, с. 163].

Пушкин искусством сочетания периодов вдохновения и труда овладел на собственной практике. И хотя переходы от его обычного состояния к творческому совершались непроизвольно, при этом почти обязательно должны были выполняться определенные условия (например, осень, на которую он планировал основную часть поэтической работы).

Особое место в учении о творчестве Галичем отводилось вопросам личной (не столько психологической, сколько физиологической) гигиены человека творческого труда. Так, он писал: «Касательно гражданских состояний замечают, будто ни в одном из них не встречается столько помешанных, как в сословии Ученых и Художников... 1) Занятия Ученых и Художников требуют решительно одностороннего образования в особенных направлениях фантазии, либо отвлеченного мышления, и тут отчасти сие уже одностороннее раздражение нервов влечет за собой известные опасности... 2) Работа Ученых и Художников весьма вредна для чувственных органов и по большей части производится в положении преимущественного покоя телесного, — в положении сидячем либо стоячем, — часто с особенною склонностию к ночным бдениям, даже, по недостатку телесных напряжений, возбуждающая здравый аппетит, с особенною любовью к яствам и напиткам — крепительным, раздражающим. Все это вместе располагает к ипохондрическим и почечуйным недугам, а напряжение умственных сил в ночную пору подает повод к насильственному раздражению нервов» [3, т. 1, с. 618—619].

Что касается ночных бдений, то Галич очень точно описал образ жизни Пушкина, для которого наиболее эффективной оказалась именно ночная работа. Это не обязательно была работа за конторкой. Для Пушкина одним из источников творческих образов выступал сон.

Правда, Галич относился к проблеме сна не очень патетически. Он считал сновидения производными от физиологических процессов, но сон как таковой — особым состоянием души: «Человек и ночные мечтания свои сознает редко; за всем тем душа, — вечно деятельная, самодовлительная и во всяком положении одинаковая, душа, коей поручено назирание и бесконечное усовершенствование божественных даров, продолжает и в состоянии сна, даже самого глубокого, обычный свой образ жизни тем благоуспешнее, чем менее развлекаема наружными раздражениями... Поелику душа сама по себе непричастна грез, то поводом к возбуждению оных бывают сплошь физические предметы и состояния организма» [3, т. 1, с. 559—560]. Может быть, Галичу снились по преимуществу ночные кошмары или ничего не снилось?

Пожалуй, наиболее многочисленные параллели можно обнаружить между представлениями Галича и Пушкина в области эмоциональной экспрессии.

В мемуарах современников Пушкина часто отмечалось то обстоятельство, что он, рассказывая про того или иного реального человека, подражал его мимике, движениям рук, общей пластике (часто утрируя оригинал). Так, по воспоминаниям А. Н. Керн: «В минуты рассеянности он напевал какой-нибудь стих и раз был очень забавен, когда повторял бес-

престанно стих барона Розена: «Неумолимая, ты не хотела жить», передразнивая его голос и выговор» [2, т. 1, с. 419]. Эти экспрессивные реакции использовались им в качестве внешней опоры, чтобы сохранить как можно дольше соответствующее переживание, связанное с поэтическим образом.

Галич, владея широким кругом энциклопедических знаний, вопрос эмоциональной экспрессии обстоятельно исследовал на материале истории искусств. Его подход к этому вопросу отражен в труде «Роспись идеалам греческой пластики», выпущенном в 1835 г. и представлявшем собой запись лекций по эстетике. Но какая-то часть этого материала должна была сообщаться и раньше, возможно, лицеистам пушкинского курса.

В этой работе проблема эмоциональной экспрессии и ее типологии рассматривалась на основе особой классификации эмоциональных процессов. Исходным для Галича было представление о видах психического. «Мысление, хотение (с его деяниями и поступками), сердце (с его ощущениями), фантазия (с ее свободным творчеством) — вот четыре идеальные акта, коими описывается круг духовной жизни!» [3, т. 1, с. 135]. В соответствии с этим «первая сторона духа есть сторона его созерцаний, представлений, познаний, коих действие... спокойное и трезвенное, оставляет разве кой-какие следы на челе и во взорах. Представительницы сего напряженного состояния умственных сил суть две созерцательные музы — Урания и Клио... Вторая сторона души — практическая — устремляет к внешним благам склонности его и желания, кои в постоянном и привычном направлении получают силу страстей. И здесь а) в порядке одинакого эгоизма мы встречаем склонность к многообразным услаждениям грубых чувств, страсть к забавам и любостыжание. Пракситель, Пратин, Аристий олицетворили сластолюбие мужчин в образе полулюдей... б) в порядке половых страстей любовь играет исключительную роль... с) в общежитии страсть вообще питается чувством истинного или мнимого превосходства над другими... Третья сторона духовного быта есть сердце, питающееся ощущениями многообразных состояний, которые оно либо получает от встревоженных мыслей и задерживаемых желаний, либо причиняет само себе... Хотите ли вы видеть изумление, испуг, страх, ужас во всей его красоте? — Потрудитесь остановиться перед Скоповой группой — остоленелой матерью Ниовии, в глазах коей Диана умертвила стрелами семь дочерей, а Аполлон семерых сыновей... Спокойствие сердца часто... возмущаемо бывает и такими мятежниками, которых оно воспитывает в собственном своем недре, т. е. стыдом и раскаянием. Стыдливы все Нимфы, Весталки и Поликлетовы Канефоры... Наконец, сердцу мудрого знаком и внутренний мир в человеке — мир с самим собой. Это блаженное состояние самодовольства есть идея Бахуса и (Бельведерского) Мелеагра...» [5, т. 1, с. 45—49]. Кстати, о «питающемся ощущениями» сердце следует заметить, что учение о сердце как органе души, который управляет всеми частными органами чувств, было характерно для русской психологии на протяжении практически всего ее развития. Пушкин, безусловно, знал об этой «сердечной» традиции, где сердцу приписывался статус средоточия всех ощущений. И именно в данном контексте следует читать фразу из его стихотворения зрелого возраста «Отцы пустынноики и жены непорочны»: «Чтоб сердцем возлететь во области заочны». Ведь вся исихастическая практика основана на сердечной, или умственно-сердечной, молитве [см.: 8, с. 248]. Продолжая перечисление «сторон души», Галич писал далее: «Четвертая, окончательная, сторона духовной жизни есть та, которая... все явления сознания силою фантазии или свободного творчества облекает в ощутительные формы. Греки разделили эту задачу между семью деловыми музами Поэзии, Музыки, Пляски и Мимики и между Прометеем, родоначальником ваяния» [5, с. 50].

Выбрав затем из всех душевных процессов те, которые соответствовали именно эмоциональным процессам, Галич постарался дать опознавательные признаки («музыкальные изменения», «извития голоса»), по которым можно безошибочно судить о протекании той или иной эмоции.

Для Пушкина подобные знания имели особое практическое значение: моделируя те или иные эмоциональные состояния через характерные движения, мимику, голос, он мог и сами данные состояния вызывать более или менее произвольно, по крайней мере останавливать на этих процессах свое внимание. Кроме того, одним из средств литературной обработки исходных образов воображения было использование ассоциативных рядов. Это придавало творчеству Пушкина синтетический характер — художественные образы создавались не просто отдельными словосочетаниями, но особым построением целых фраз и более крупных единиц текста, связывающихся через ключевые слова, «истинный вкус состоит не в безотчетном отвержении такого-то слова, такого-то оборота, но в чувстве соразмерности и сообразности» (Отрывки из писем, мысли и замечания, 1827) [12, т. 1, с. 226]. Многие глубинные смыслы, существующие в пушкинских произведениях, могут быть адекватно поняты лишь при анализе заложенных в них ассоциаций. В этом отношении учение об эмоциональных выражениях Галича интересно, прежде всего, тем, что для Пушкина сами эмоции служили стержнем в его творческих разработках, а описания сопутствующих эмоциям процессов выступали опорными знаками. И во многих пушкинских текстах можно увидеть именно те связки эмоций и экспрессивных выражений, о которых говорил Галич.

Так, у Галича можно прочесть следующие описания: «Удивление требует медлительных, торжественных, низких тонов; в изумлении произносятся слова весьма тяжело, как будто органы языка находятся в оцепенении; часто оратор даже заикается. Речь уважения подходит к речи удивления, презрение говорит несколько в нос. Решительность имеет твердый, резкий тон, сообразный с ее внутренним расположением. Радость выражается особенным каким-то доброгласием, которое в быстрых движениях поднимается выше средних тонов. С нею сходно и довольство, но, поелику сия страсть есть более мягкого, тихого рода, то голос ее в медленных движениях и опускается ниже тонов средних. Надежда разделяет с радостью и довольством кроткое доброгласие, но и различается от них натяжным тоном, который она теряет только тогда, когда, восходя на высочайшую степень, делается упованием» [6, с. 179].

Что касается пушкинских стихов, то в них надежда очень часто выступает в паре с тишиной:

Но где же вы, минуты умиленья,
Младых надежд, сердечной тишины? [12, т. 1, с. 226]

В другом месте читаем:

Надеждой сладостной младенчески дыша... [12, т. 1, с. 294].

Или еще:

Любви, надежды, тихой славы... [12, т. 1, с. 194].

«Мужество слышится в силе и натиске речи. Строптивый говорит грубо, борзо и отрывисто, так же точно и тон угроз, которые сверх того любят говорить сквозь зубы. Печаль произносит слова медленно, удушливым голосом, который прерываем бывает иногда вздохами и трудным дыханием, а на степени глубокой горести голос ее делается глухим и сиповатым» [6, с. 179—180].

У Пушкина читаем:

И ты со мной, о лира, приуныла,
Наперсница души моей больной!
Твоей струны печален звон глухой... [12, т. 1, с. 133].

Или в другом месте:

Я все забыл; печали молчаливой
Покров лежит над юною главой...
И умер глас в бесчувственной струне.
Перед собой одну печаль я вижу! [12, т. 1, с. 151].

«Страх говорит разрывчатым, слабым, стесненным, часто дрожащим голосом. Гордость часто спускает свой протяжный голос ниже средних тонов, говорит медленно, с размером и любит ударения резкие, соединяя с тем еще тоном презрения» [6, с. 180].

У Пушкина:

Предметы гордых песнопений
Разбудят мой уснувший гений [12, т. 1, с. 235].

Заканчивает Галич описание общих проявлений эмоций следующей картиной: «Смирение изъясняется средними тонами, несколько медленно, жиденьким голоском и без ударений, а стыд робко, часто заикаясь. Приветлив, но несколько важен язык доброхотства; нежность нашептывает ласковые, умильные речи, в которых дозволяет себе даже шалить — с детскою непринужденностью. Любовь изменяет голос обоих предыдущих страстей примесью какого-то томного сладострастия. Сильно и стремительно выражается ненависть; скоро, коварно и в высоких тонах насмешка, а злодейство — бойко и резво, когда оказывает пренебрежение к предмету, важно и колко, когда сделать того не может. Голос гнева шипит и дребезжит от судорожных движений» [6, с. 180—181].

А в «Медном всаднике» Пушкина есть такие строчки:

Добро, строитель чудотворный! —
Шепнул он, злобно задрожав... [12, т. 1, с. 183]

Мимические и пластические реакции при тех или иных эмоциях Галич описывал так. «Удивление, расширяющее душу, обнаруживается и соответственными телодвижениями. Совершенно открытые, почти выпученные глаза смотрят на предмет; расширенные, впрочем спокойные, черты лица изъясляют ощущаемую радость; уста полуотверсты. Грудь вздымается, руки подняты вверх и распростерты; все тело вытягивается; движения медленны и торжественны. В радости расширенные черты лица чрезвычайно умильны, т. е. расположены к улыбке. Такой же умильный взгляд бросают вокруг себя и глаза, оживленные огнем сердечного чувства; грудь вздымается; голова тихонько выгибается из плеч; стан принимает прямое положение и некоторую упругость, движения совершаются легко и быстро; человек прыгает. В особенности руки живо машут вокруг головы и в сей беспорядочной игре... весьма часто сдвигаются и разымаются с известным напряжением. От этого происходят рукоплескания, как выражение радости... Силы, оживленные во всех частях, оттеняют самые щеки тонким румянцем... Восторг почти поднимает человека в воздух и окрыляет все его тело, так что ноги едва касаются до земли. Гнев вооружает силою все крайние члены, особливо же те, посредством которых мы нападаем, схватываем и разрушаем. Если конечности вообще от прилива крови и соков напрягаются и дрожат, если кровавые, сверкающие глаза сыплют вокруг себя взгляды, подобные жгучим искрам, то в других частях тела, особливо в руках и зубах, примечается какое-то беспокойство, возмутительное движение, а именно там судорожное сжатие, здесь скрежетание. Сверх того раздуваются еще местами и жилы, особливо на шее, висках и на лбу. Лицо рдеет; движения стремительны и совершаются не в плавной, волноподобной линии, а под известными углами; походка тяжелая, тряская. В надежде светлое лицо и открытые глаза возвещают радость души. Взор простирается вдаль, как бы в будущность, которая в своем лоне носит еще чаемые сокровища, или он обращается к небу, все блага ниспосылающему. Но чем легкомысленнее наши ожидания, тем более выражение оных смешивается с выражением неизвестности, т. е. с

блудящими взорами. Коль же скоро надежда переходит в упование, то сомнительность телодвижений теряется и выражения получают твердость, определенность, куда принадлежит, например, отвесное положение тела, ударение ладонью в сердце, как вместилище чувства уверенности, и проч. В страхе душа как бы прячется в саму себя от предстоящей опасности; она подавлена чувством бессилия сопротивляться угрожающему предмету. Согласно с сим состоянием и самое тело сжимается и дрожит, лицо бледнеет, грудь стесняется, сердце сильно бьется от затруднительного кровообращения. На высшей степени страха, т. е. в ужасе, открывается остолбенелый глаз, равно как и рот» [6, с. 184—190].

Особое значение в описании экспрессивных реакций Галич придает глазам: «Что сравнится с красноречием глаз? Чрез них видимо изливается душа; они сверкают, когда душа ощущает радость, тускнеют, когда она прискорбна» [6, 191]. Наконец, «во взорах не только чувство, но и откровение: ибо в их зеркале прямо отсвечивается небесная душа, или, лучше сказать, она смотрит на тебя — лучезарным оком — так, как не может глядеть никакое другое — немое — чувство» [4, с. 183].

А у Пушкина встречается описание такой «приметы»:

Я любовников счастливых
Узнаю по их глазам:
В них сияет пламень томный —
Наслаждений знак нескромный... [12, т. 1, с. 563]

Галич был специалистом по физиогномическим опытам. Об этом говорит, в частности, то, что в основной свой труд, посвященный человеку, он включил главу о «Духовной семиотике, или физиогномике». Каков его подход к этому вопросу, можно судить по следующей достаточно характерной зарисовке: «Голстая, отвислая губа нижняя означает перевес животной и грубой части, а втянутая нижняя губа, которая тем самым вздымает верхнюю, либо, по крайней мере, увлекает за собою, перевес или могущество чувств» [3, т. 1, с. 575]. Некоторым членам семьи Пушкиных было свойственно серьезное увлечение физиогномикой, например его сестре Ольге Сергеевне. Да и сам Александр Сергеевич знал многие «тайные науки» о знаках судьбы. Показателен такой эпизод: «Пушкин был большой наблюдатель физиономий; он стал глядеть на Россета, наблюдал линии его лица и что-то сказал ему лестное. Тот весь покраснел, и Пушкин стал громко хохотать над смущением двадцатилетнего офицера» [13, с. 432]. Кроме того, в повести «Дубровский» есть такой эпизод: «Слуги стали разносить тарелки по чинам, в случае недоумения руководствуясь лафатерскими догадками, и почти всегда безошибочно» [12, т. 3, с. 155]. В библиотеке поэта были такие книги: Lavater J. G. L'Art de connaitre les hommes par la physiognomie. P., 1820; La physiognomie ou l'art de connaitre les hommes [10]. Кстати, Карамзин еще в 1789 г. во время своего пребывания в Цюрихе получил из рук Лафатера его рукопись «Сто правил физиогномики» с условием не показывать ее непосвященным людям. Но, возможно, Пушкин видел эту рукопись или, по крайней мере, о ней слышал. А в письме к Керн есть, например, такие строчки, касающиеся, по-видимому, уже френологии (науки об особенностях строения черепа): «Сходство характеров, ненависть к преградам, сильно развитый орган полета и пр. и пр.» [11, т. 9, с. 186].

Возвращаясь к учению Галича об эмоциональных выражениях, можно заключить, что Пушкиным, явно или неявно, использовались многие элементы, представленные в этом учении. Решение вопроса о прямом влиянии Галича на творчество поэта требует тщательного архивного анализа, так же как и по другим психологическим проблемам, которые решались Галичем на протяжении его жизни и могли обсуждаться на занятиях в лицее (самопроизвольность воли, активность памяти, учение о страстях и многое другое). Но содержательные параллели идей двух этих деятелей русской культуры очевидны.

Литература

1. Башилов Б. Пушкин и масонство (главы из книги) // А. С. Пушкин: путь к Православию / Сост., подгот. текста, примеч. А. Н. Стрижева. М., 1997.
2. Вересаев В. В. Пушкин в жизни: Систематический свод подлинных свидетельств современников: В 2 кн. Кн. 1. СПб., 1995.
3. Галич А. И. Картина человека, опыт наставительного чтения о предметах самопознания для всех образованных сословий, начертанный А. Галичем. СПб., 1834. Т. 1, 2.
4. Галич А. И. Лексикон философских предметов, составленный Ал. Галичем. Т. I. СПб., 1845.
5. Галич А. И. Роспись идеалам греческой пластики // Летопись факультетов на 1835 год, изданная в двух книгах А. Галичем и В. Плаксиным. СПб., печатано в типографии И. Глазунова. 1835. Т. 1.
6. Галич А. И. Теория красноречия для всех родов прозаических сочинений, извлеченная из немецкой библиотеки словесных наук А. Галичем. СПб., печатано при Императорской Академии Наук, 1830.
7. Колубовский Я. Галич // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. VII. СПб., 1892.
8. Лепяхин В. «Отцы пустынножители и жены непорочны...» (Опыт подстрочного комментария) // А. С. Пушкин: путь к Православию / Сост., подгот. текста, примеч. А. Н. Стрижева. М., 1997.
9. Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин»: Комментарии: Пособие для учителя. Л., 1983.
10. Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина. СПб., 1901.
11. Пушкин А. С. Собрание сочинений: В Ют. М., 1975 — 1978.
12. Пушкин А. С. Сочинения: В 3 т. М., 1985 — 1986.
13. Рассказы братьев Россет П. И. Бартеневу // Последний год жизни Пушкина / Сост., вступ. очерки и примеч. В. В. Кунина. М., 1988.
14. Тырнова-Вильямс А. Жизнь Пушкина: В 2т. М., 1998. Т. 1.